

Пролог

Личинка, черва, куколка — зародыш крылатого существа, а еще — нового творения (по крайней мере, такую надежду лелеет всякий автор). Но в английском есть иное, полузабытое значение этого слова: причуда, блажь, фантазия. В конце семнадцатого и начале восемнадцатого века иногда так обозначали мелодии, не имевшие точного определения: «Фантазия мистера Бевериджа», «Фантазия милорда Байрона», «Фантазия Карпентеров» и так далее. Моя литературная фантазия родилась по той же причине, что и ее старинные музыкальные тезки — навязчивая тема. Задолго да того, как я взялся за перо, в моем воображении беспричинно возникала картинка: маленькая кавалькада безликих путников, явно из давних времен. Но кроме этого весьма незатейливого образа — всадники в пустынной местности, — больше ничего не было. Не знаю, откуда он взялся и почему назойливо меня преследовал. Всадники никуда не стремились, но просто ехали себе вдоль линии горизонта; в голове моей видение беспрестанно прокручивалось, точно закольцованная киноплёнка или стихотворная строка, хвостик забытой легенды.

Но потом один из путников обрел лицо. По случаю я купил портрет девушки, выполненный карандашом и акварелью. Имя художника не значилось, лишь в уголке стояла пометка тушью (вроде бы по-итальянски): «16 июля 1683». Сперва этакая точность впечатлила не

Джон Фаулз

больше самого непримечательного портрета, но потому что-то в лице давно сгинувшей девушки — необъяснимая живость взгляда, неприятие тлена — меня проняло. Возможно, именно сопротивление смерти связало эту реальную женщину с другой — той, что жила гораздо позже и к кому я проникся глубокой симпатией.

Мой вымысел ни в коей мере не являет собой жизнеописание той другой женщины, хотя заканчивается ее рождением, по времени почти совпадающим с ее реальным появлением на свет. Я дал новорожденной ее подлинное имя, но не считаю свое произведение историческим романом. Это куклолка.

Джон Фаулз, 1985

На закате последнего дня давнего апреля одинокая вереница путников пересекает плоскогорье в дальнем уголке Юго-Западной Англии. Всадники шагом едут по тропе в вересковых зарослях. Пейзаж уныл, на здешней высоте весна еще не чувствуется; впечатлению гнетущего однообразия способствуют серое небо, наглухо затянутое облаками, неизбежная усталость от дороги и погода. Торфяная тропа бежит через пустошь в иссохшем вереске; ниже, в обрывистой долине, темная стена деревьев с набухшими, но еще не лопнувшими почками. Все, что дальше, окутано дымкой и блекло, как одежда путников. Ни ветерка, вокруг все хмуро и будто затаилось. Лишь на самом западе тонкая полоска желтого света вселяет надежду, что днями распогодится.

Череду безмолвных всадников возглавляет мужчина лет под тридцать; он в темно-коричневом рединготе, сапогах и треуголке, загнутые поля которой обшиты скромной серебристой тесьмой. Брюхо гнедой лошади и полы редингота забрызганы грязью, словно перед тем путь этого человека и его спутников пролегал через топь. Бросив повод, он чуть ссутулился и невидяще смотрит перед собой. На невысокой упитанной лошадке за ним следует мужчина в годах, одетый в темно-серый редингот и простую черную шляпу. Он тоже не смотрит по сторонам, но читает книжицу, которую держит в свободной руке, доверив мирному одру самому выбирать дорогу. Следом ступает конь-крепыш, который несет двоих: одетый в блузу с широкими рукавами, тяжелый драге-

товый камзол и кожаные штаны, простоволосый мужчина, чьи длинные пряди собраны в хвост, поддерживает молодую женщину, что амазонкой сидит перед ним, уронив голову на его грудь. Из-под капюшона бурой накидки видны лишь ее глаза и носик. Замыкает процессию выючная лошадь под багажной рамой: к одному боку коняги приторочен внушительный кожаный баул, к другому — деревянный, в углах окованный медью сундучок, а на спине ее громоздятся узлы и дорожные мешки, прикрытые веревочной сеткой. Обремененная поклажей скотина понуро бредет в поводу, задавая темп всей кавалькаде.

Путники безмолвны, однако их приметили. За долиной, круто уходящей к скалам и невысоким утесам, стоит хриплый зловещий гвалт недовольных вторжением в их владения. Кричит встревоженное воронье. В те времена ворон еще не превратился в нынешнего редкого одиночку; обширные колонии этих птиц обитали в уединенных предместьях и даже во многих городах. До черных крапин, беспокойно кружащих в небе, не меньше мили, но их враждебная сторожкость несет в себе дурное предзнаменование. Во многом столь разные, все путники знакомы с репутацией птиц, а потому втайне страшатся их гортанных криков.

Можно подумать, два первых конника и тот, что с женщиной, по виду скромный ремесленник, встретились случайно и держатся вместе лишь оттого, что так безопаснее в здешних пустынных местах. Причиной их решения не одни вороны, о чем свидетельствует экипировка головного всадника. Из-под полы его редингота выглядывает кончик шпажных ножен, а другая пола эдак топорщится, делая вполне законной догадку о пистоле в седельной кобуре. У ремесленника тоже наготове пистоль с латунной рукояткой, а из багажной сетки на спине унылой выючной лошади торчит длинностволь-

ный мушкет. Лишь второй всадник, что постарше, безоружен. Исключительная редкость для тех времен. Но если путники встретились случайно, джентльмены непременно вступили бы в беседу и ехали рядом, что позволяет ширина тропы. Однако оба не проронили ни слова, как и пара, следующая за ними. Похоже, каждый углублен в себя.

Но вот тропа наискось сбегает к леску в долине. Примерно через милю деревья уступают место лугам другой долины, затянутой печным дымком из еле видной горстки домов, над которыми высится статная колокольня. На западе невидимые прорехи в облаках чуть наливаются янтарным светом. Иные путники радостно вздохнули бы и обменялись репликами, но в наших сия метаморфоза не находит отклика.

Нежданно-негаданно из леска появляется еще один конник — кряжистый мужчина неопределенных лет и в густых усах. Одевание его весьма живописно: выгоревшая алая тужурка и некое подобие драгунского кивера. Притороченные к седлу длинная сабля и мушкетон с массивным прикладом, а также воинственная манера, в какой он пришпоривает коня навстречу приближающейся кавалькаде, словно желая преградить ей путь, говорят о его привычке к риску. Однако путники не выказывают ни тревоги, ни волнения. Лишь всадник, читающий книжку, спокойно ее закрывает и прячет в карман редингота. Натянув повод, усач осаживает коня ярдах в десяти от джентльмена, возглавляющего процессию, и, коснувшись кивера, пристраивается с ним рядом. Он что-то говорит, вожак, не поднимая глаз, кивает. Усач вновь козыряет и, отъехав в сторону, поджидает верховую пару. Та притормаживает, и он, перегнувшись с седла, отвязывает повод вьючной лошади. Даже сейчас не сказано ни единого дружеского слова. Усач занимает место в арьергарде — теперь он ведет вьючную бедолагу; вскоре все

так, словно он всегда был безмолвным членом сей бесстрастной компании.

Процессия въезжает в голый лесок. Тропа, которая зимой служит временным руслом потоку, рожденному дождями, становится круче и жестче. Все чаще подковы звонко цокают о камень. Вот путники достигают лощины, где через нагромождение валунов, торчащих из земли, нелегко перебраться даже пешему. Вожак будто не замечает камней, но конь его мешкает, а затем опасливо выбирает меж ними дорогу. Задние ноги его скользят, вот-вот он рухнет, придавив седока. Каким-то чудом лошади и наезднику удастся сохранить равновесие. Конь ступает медленнее, вновь оскальзывается, всхрапывает и неистовым усилием выбирается из каменной ловушки, испустив тихое ржание. Всадник устремляется вперед, даже не взглянув, как другие преодолеют препятствие.

Его старший товарищ оглядывается на ремесленника, который жестом предлагает спешиться и провести коней в поводу. Усач в алой тужурке, недавно здесь проезжавший, уже на земле и привязывает выючную лошадь к торчащему корню. Пожилой спешивается. Освободив ногу из правого стремени, мастеровой одним махом перебрасывает ее через спину лошади и ловко соскакивает наземь. Женщина соскальзывает в его протянутые руки и тоже благополучно приземляется.

С лошадкой в поводу пожилой опасливо входит в лощину, за ним следуют простоволосый в камзоле и его жеребец. Третьей — женщина, чуть вздернувшая подол, чтобы видеть дорогу; замыкает шествие усач в линиялой тужурке. Одолев лощину, он передает повод своего коня ремесленнику и, пыхтя, возвращается за выючной лошадкой. Пожилой неловко забирается в седло и продолжает путь. Женщина откидывает капюшон и распускает белую холстину, прикрывающую нижнюю часть ее лица. Теперь видно, что она очень юна, совсем еще девица:

бледное личико, темные волосы зачесаны назад и скрыты плоской соломенной шляпкой «молочница», которая поверху туго перехвачена голубой лентой, завязанной под подбородком, и оттого смахивает на капор. В таких плетеных шляпках щеголяют многие английские простолюдинки. Из-под накидки выглядывает белая оборка фартука. Стало быть, прислуга.

Ослабив шнурок накидки и ленту, девушка проходит чуть вперед и наклоняется к обочине, где еще не отцвели душистые фиалки. Спутник ее следит за тем, как она, осторожно отводя сердцевидные лепестки, под которыми прячутся темно-лиловые цветки, собирает букетик, и вид его выражает полнейшее недоумение.

Не поймешь, что скрыто за безучастностью мастерового: мужицкая невежественность, тупая покорность судьбе, роднящая его с лошадьми, которых он держит под уздцы, или нечто иное — глубокое отвращение к красоте, нездоровая подозрительность к тому, что хорошенькая бабенка тратит время на ерунду. В то же время черты его удивительно правильны и соразмерны, что вкупе с ладным крепким телом придает этому человеку, определенно подлого сословия, нелепое сходство с классической статуей. Пожалуй, сравнение с греческим Аполлоном не годится, ибо самое удивительное в лице ремесленника — его глаза — прозрачно-голубые, точно у слепца, хотя он явно зрячий. Они не выдают никаких чувств, словно их обладатель витает в иных сферах. Взгляд окуляров, но никак не человеческих глаз.

Девушка вдыхает аромат пурпурных цветков в оранжевых и серебристых прожилках, затем подходит к своему спутнику и важно протягивает ему букетик — мол, понюхай. На миг их взгляды встречаются. Темно-карие, чуть шальные глаза девушки искрятся озорством, но она не улыбается, суя цветки под нос ремесленнику. Коротко нюхнув, тот нетерпеливо кивает и с прежней лихо-

стью взлетает в седло, не выпуская повод второй лошади. Еще секунду девушка его разглядывает, а затем вновь укутывает рот и подбородок белой холстиной, за край которой втыкает букетик, устроив его возле самого носа.

Возвращается усач в военной тужурке; перед тем он помочился, спрятавшись за выючную лошадь, и теперь привязывает ее повод к седлу своего коня. Похоже, далее следует привычный ритуал: усач подставляет девушке сцепленные руки, и та, ступив в них левой ногой, легко вспархивает на попону, постеленную перед ее бесстрастным спутником. Сверху она поглядывает на своего помощника, букетик фиалок возле ее носа выглядит нелепыми усиками. Человек в тужурке нехотя козыряет и подмигивает. Девушка отворачивается. Ремесленник, все это видевший, пришпоривает коня. Жеребец срывается в неуклюжую рысь, но всадник резко осаживает, вынуждая девушку ухватиться за его камзол. Подбочившись, усач наблюдает за парой, потом садится в седло и пускается следом.

Влесу тихий звук достигает его ушей — девушка поет, вернее, мурлычет старинный печальный напев «Дафна», уже в те дни казавшийся древним. Вторжение человеческого голоса в доселе нерушимую тишину выглядит слегка дерзким. Чтобы лучше расслышать, усач подъезжает ближе. Цокают копыта, поскрипывают седла, тихонько звякает сбруя, шумит вода; из долины доносятся трели дрозда, столь же обрывочные, как и чуть слышное пение девушки. Впереди сквозь голые ветви мерцает золотистый свет заходящего солнца, отыскавшего проталину в облаках.

Шум воды становится громче. Путники недолго едут вдоль бурной стремнины, поросшей вереском и яркой зеленью: тут фиалки, кислица, побеги папоротника, очажки примулы, изумрудный тростник и молодая травка. Тропа выходит на маленькую опушку и спускается

к броду, где поток спокойнее. На другом берегу два первых всадника поджидают товарищей, как хозяева — нерасторопных слуг. За спиной вожака пожилой берет понюшку табаку. Девушка смолкает. Нащупывая дорогу в каменистом дне резвого потока, три коня шумно пробираются по броду, означенному рядом валунов. Молодой джентльмен смотрит на девушку в фиалковых усиках, словно она виновница задержки. Та не поднимает взгляд, но лишь теснее жметесь к спутнику, чьи объятья страхуют ее от падения. Когда вся троица благополучно выбирается на берег, вожак трогает повод; поход продолжается в прежнем порядке и безмолвии.

Вскоре строй угрюмых конников покинул лес, выехав на широкий простор долины. Чуть под уклон, тропа бежала через необъятную луговину. В те времена сельское хозяйство Западной Англии подстраивалось под нужды своей главной персоны — овцы. Пейзаж создавали не нынешние латки полей, размежеванных живыми изгородами, но бескрайние пастбища. Вдали маячил поселок, колокольня которого просматривалась со взгорья. По вытянутому лугу разбрелись три-четыре отары; темные войлочные бурки и крючковатые посохи придавали монолитным фигурам чабанов сходство с первыми христианскими пастырями. Возле одного пастуха крутилась пара ребятишек. Те густошерстные овцы эксмурской породы были мельче и тощее нынешних. Слева от путников у подножья холма виднелся обширный каменный загон, чуть дальше — еще один.

Молодой джентльмен придержал коня, позволив второму всаднику поравняться с ним; теперь они ехали рядом, но по-прежнему молчали. Стремглав пролетев по общипанной стерне, пастушата выскочили к обочине дороги, таращась на приближавшихся сказочных существ, для которых сами оставались невидимками. Задрав го-

ловы, босоногие брат и сестра безмолвно пялились на чужаков, тоже молчавших. Вожак их просто не заметил, пожилой мазнул по ним равнодушным взглядом. Мастеровой также не удостоил их вниманием, а вот усач не побрезговал даже столь малочисленной публикой: приосанился и в манере заправского кавалериста вперил взор вдаль. Лишь взгляд служанки, обращенный на девочку, потеплел.

Ярдов триста ребятишки вприпрыжку бежали рядом с путниками, а затем паренек надал к насыпной изгороди с воротами, пересекавшей дорогу. Откинув запор, он распахнул створки ворот и, глядя в землю, протянул руку. Пожилой бросил фартинг, который нашарил в кармане редингота. Дети кинулись за покотившейся монетой, паренек успел первым. Потом оба вскочили и, понурившись, протянули ладошки к путникам в конце процессии. Служанка кинула девочке фиалки, которые, скользнув по явно завшивленной головке, упали на землю. Малышка уронила руку, озадаченная непостижимым, бесполезным подарком.

Четверть часа спустя пятеро путешественников въехали на окраину маленького города К. По нынешним меркам обычный поселок, статус города он обрел благодаря тому, что в нем обитало на пару сотен человек больше, чем в любой близлежащей деревеньке той малолюдной округи, а также благодаря древней хартии, пожалованной ему в более удачливые времена (лет четыреста назад), однако и теперь позволявшей сонному мэру и крохотному муниципалитету избирать двух представителей в парламент. Городишко мог похвастать кое-каким числом купцов и ремесленников, еженедельным рынком, постоянным двором и двумя-тремя пивными, а также старинной школой, если дряхлого учителя (по совместительству приходского писца) и семерых учеников

счесть учебным заведением. Во всем прочем он оставался деревней.

Величавый вид средневековой церкви был обманчив, ибо ее остроконечная зубчатая колокольня обозревала уже не столь процветающую округу, нежели та, в какой ее возвели почти три века назад, и являла собой скорее реликвию, нежели показатель благополучия. В городке никто из знати постоянно не проживал, хотя усадьба имелась. Как во всякой английской глубинке, в округе не было приличных дорог. А главное, на дворе стояла эпоха, когда вкус к природным красотам (тех немногих, у кого он был развит вообще) ограничивался симметричными французскими или итальянскими садами и оголенными, но художественно облагороженными ландшафтами — классикой заморской Южной Европы.

В родных диких просторах, а уж тем более в тесных домишках затрапезных городков вроде К. просвещенный английский путешественник не видел ничего романтического и живописного. Всякий с претензией на вкус считал их напрочь безликими. Неухоженная первобытная природа не пользовалась симпатией того времени. На пороге торгашеского века ее благоуханная бесполезность, буйность и некрасивость казались досужим напоминанием (в первую очередь нации корыстных пуритан) о грехопадении человека и его вечной ссылке из Эдемского сада. Всякая древность, не имевшая касательства к Греции и Риму, считалась бессмысленной всеми, кроме немногих ученых-книжников; даже естественные науки вроде давно известной ботаники были чрезвычайно враждебны к дикой природе, видя в ней лишь то, что следует укротить, классифицировать, утилизировать и использовать. Узкие улочки и проулки, толкотня домов в тюдорском стиле выражали собой лишь одно допотопное варварство, какое нынче встретишь в самых

отсталых чужеземных краях — африканской деревне, да еще, может, на восточном базаре.

Если б человек двадцатого века совершил скачок в прошлое и взглянул на тогдашнюю жизнь глазами двух благородных путников, въезжавших в городок, он бы решил, что угодил в странную космическую дыру, где время, пространство и смысл застопорились, а Клио топчется на месте и скребет во взъерошенном затылке, гадая, куда же, черт возьми, двинуть дальше. Тот последний апрельский день пришелся на год, почти в равной мере отстоящий от 1689-го, пика Английской революции, и 1789-го, начала Французской революции, — этакого застоя (предсказанного теми, кто верит в эволюцию всплесками), сонной мертвой точки между символическими веками. Оголтелый радикализм предыдущего столетия был отторгнут, и уже проклюнулись семена грядущих мировых перемен (возможно, в образе брошенного фартинга и фиалок). Разумеется, Англия в целом предалась извечно любимой национальной утехе: объединенная одной лишь непереваренной ненавистью к любым переменам, глубоко погрузилась в самое себя.

Подобно многим историческим затишьям, сей внешний вялый временной отрезок был не столь уж плох для почти шести миллионов англичан, даже самых незнатных. Ребятишки, что попрошайничали у приезжих, носили латанную одежку, однако не казались заморенными голодом. Нынешние заработки превосходили те, что были в прошлых веках, и те, что будут в ближайшие два столетия. Право, для Девоншира наступило благодатное время. Последние полтысячи лет его порты и корабли, города и поселки процветали благодаря одному великому сырью — шерсти. Очень скоро, в какие-нибудь семьдесят лет, сей промысел потихоньку начнет хиреть, а потом и вовсе зачахнет, поскольку общественный вкус переметнется к тканям полегче, которые предложит бо-

лее разворотливый английский Север, но пока половина Европы, колониальная Америка и даже имперская Россия закупали прославленное «аглицкое сукно».

В городке К. текстильным ремеслом занимались почти за каждой дверью и незаставленным окошком крытых соломой хибар: пряли женщины, пряли мужчины, пряли дети. Если руки их, сами выполнявшие привычную работу, предоставляя полную свободу глазам и языкам, не сучили пряжу, то мыли и чесали овечью шерсть. Изредка в темном нутре домишки мелькнет ткацкий станок, но в основном жужжали прялки. До внедрения прядильных машин оставалась еще пара десятилетий, и пока пряжу для ненасытных ткацких фабрик, рынков и богатых мануфактурщиков Тивертон и Эксетера по старинке сучили вручную. Бесконечное движение педалей, круговерть колес и веретен, а также запах сырой шерсти ничуть не впечатлили наших путников — по всей стране прядение пока что оставалось надомной работой.

На спесивую слепоту пришлых местные ответили иным. Повозка, запряженная шулыми волами, еле-еле плелась перед всадниками, не давая себя обогнать; прохожие, зеваки в дверных проемах и окнах, привлеченные цокотом копыт, и пряжи одаривали незваных гостей насупленными взглядами, словно подозрительных чужеземцев. Такая отчужденность объяснялась еще и сословной рознью, полувеком раньше четко проявившейся в соседних графствах Сомерсет и Дорсет: почти половина примкнувших к Монмутскому мятежу была из текстильных ремесленников, остальные из крестьян, однако ни единого человека из помещиков. Ошибочно говорить о зачатках цехового сознания или даже стадности черни, уже опасно обозначившихся в больших городах, однако врожденная неприязнь к выходцам из мира, где правил не текстиль, была налицо.

Суровая важность обоих джентльменов, старательно избегавших внимательных глаз, отсекала возможность всяких приветствий, вопросов и даже реплик шепотком. Временами девушка робко поглядывала на зевак, озадаченных ее чудным закутаным видом. Лишь усач в линиялой тужурке выглядел обычным путешественником. Он отвечал взглядом на взгляд и даже козырнул двум молодухам, застывшим в дверном проеме.

Вдруг из-за откоса, подпиравшего кособокую стену глиняной хибары, выскочил малый в длинной рубахе и, размахивая ивовым обручем с нанизанными мертвыми птицами, подбежал к усачу. По придурковатому лицу парня бродила хитрая ухмылка юродивого.

— Купи, мистер! Пенс за птичку!

Усач отмахнулся, но парень, пятясь перед ним, все пихал ему связку мертвых снегирей с малиновыми грудками и угольно-черными головками (тогда церковные приходы платили за каждую убитую птицу).

— Кудой едешь, мистер?

Помолчав, усач буркнул:

— Блох кормить в вашем гадюшнике.

— Пошто?

Усач даже не глянул:

— Не твоего ума.

Воловья упряжка свернула к кузне, и кавалькада смогла прибавить шаг. Ярдов через сто всадники выехали на маленькую площадку, по краю вымощенную брусчаткой. Хоть солнце село, на западе разъяснело. В медовом свете плыли розовые перистые облака, окрашивая багрянцем синеватый небесный свод. Посреди окруженной строениями рыночной площади высился крытый сланцем покатым навес, сколоченный из массивных дубовых бревен. Здесь разместились портняжья мастерская, лавки шорника, бакалейщика, аптекаря, цирюльника-костоправа (единственного местного ле-

каря) и сапожника. На краю площади кучка народу лентами украшала лежавшее на земле Майское дерево — главный элемент завтрашнего праздника.

Неподалеку от навеса ребячьей стайки шумно играли в салочки и лапту. Нынешние фанаты бейсбола были бы потрясены тем, что лаптой больше увлекались девочки, а лучший игрок в награду получал не миллионный контракт, а всего лишь пудинг, приправленный пижмой. Ребята постарше, в чью компанию затесалась пара мужиков, поочередно швыряли увесистые шишкастые дубинки из падуба и боярышника в странное чучело, сооруженное из замызанной красной тряпицы и отдаленно смахивавшее на птицу. Наши путники тотчас смекнули, что идет упражнение в исконно английской благородной забаве, которая состоится завтра: убой петухов метанием тяжелых «костыг». Главные состязания традиционно приходились на Масленицу, однако в Девоншире сей вид спорта был популярен так же, как петушинные бои на праздниках знати. Минует ночь, и место тряпичного чучела займут охваченные паникой живые птицы, брусчатка окропится кровью. В восемнадцатом столетии истинный христианин был жесток к этим тварям. Ведь именно нечестивец петух трижды прокукарекал, знаменуя каждое отречение апостола Петра! А потому насмерть забить его потомков — высшая добродетель!

Оба всадника натянули поводья, будто слегка опешив от неожиданной кутерьмы на площади, но метатели уже побросали биты, а детишки свернули игры. Вожак обернулся к усачу, и тот кивнул на обветшалый каменный дом, над крыльцом которого был намалеван черный олень, а рядом виднелся арочный въезд в конюшню.

Кавалькада процокала по уклонистой площади. Ради столь увлекательного зрелища на время было забыто Майское дерево, зеваки образовали небольшой кор-